

СЛОВО ОБ ИВАШКЕВИЧЕ

ТО, ЧТО я хочу сказать о Ярославе Ивашкевиче, — не характеристика, не оценка, даже не обрисовка поэтического явления и человека.

Это — только впечатление, мое впечатление, вновь и вновь возникающее во мне, едва я слышу имя — Ярослав Ивашкевич. Так, вероятно, возникает в представлении нашем первый и самый общий образ картины и понятия, когда мы слышим всего одно слово, обозначающее какой-нибудь край, область, страну, — Крым, Волга, Ладога. В данном случае и скорее всего, конечно, — Польша. Однако в то же время — Украина — Россия. А может быть, Польша, Украина, Россия вместе?

Слово, речевое обозначение, имя — это сигнал, вспышка сознания, зажигающая работу воображения. Я слышу имя — Халлдор Лакснесс. Сигнал дан: моя мысль строит образ Исландии.

В пору моего отрочества таким сигналом образа Польши было имя Сенкевича. В мои студенческие годы — имя Реймонта, не меньше также имя Тетмайера. Я не думаю проводить параллелей. Названные трое оставались для меня именами писательского ряда, литературными понятиями. Они помогали сложить представление о польской нации, ее истории и современности до кануна первой мировой войны. Личность

20 февраля в Центральном Доме литераторов состоялся вечер, посвященный семидесятилетию со дня рождения крупного польского писателя, выдающегося общественного деятеля, борца за мир Ярослава Ивашкевича.

Вечер открыл Алексей Сурков, «Слово об Ивашкевиче» произнес Константин Федин, о творчестве польского писателя рассказала Ядвига Станюкович. Было зачитано приветствие от Ивана Анисимова, с чтением переводов стихов Я. Ивашкевича выступили поэты М. Зенкевич, М. Павлова, Д. Самойлов, Н. Сидоренко, Б. Слуцкий, Я. Хелемский.

На вечере выступил также посол Польской Народной Республики в СССР Эдмунд Пцулковский.

Широко отметила юбилей Я. Ивашкевича польская общественность. Писатель награжден высшим орденом страны — орденом Строителя Народной Польши.

Награду вручил Ярославу Ивашкевичу председатель Государственного совета ПНР Александр Завадский. На торжествах присутствовали члены Политбюро ЦК ПОРП во главе с первым секретарем ЦК ПОРП Владиславом Гомулкой.

Конст. ФЕДИН

этих писателей, их человеческая особенность реально для меня не существовали: различия между ними были различиями литературными, эстетическими, книжными.

Ярослава Ивашкевича я знаю книжно и лично. Он для меня в этом отношении целостность, и — пусть выражение будет неудачным — его имя материализует в моем воображении современного нам польского писателя и за ним стоящую Польшу.

Ничто так в мире не отражает сущности национального характера, как литература. Ничто не помогает познанию этого характера столь многосторонне, как поэтическое лицо народа. В этом смысле литература ничем незаменима. И, конечно, существование художественного слова, его бытие есть энергия межнациональная. Народы начинали узнавать друг друга с обмена товарами. Обмен словом, идеями, книгами обогнал обмен товарами. Во всяком случае, великое слово, великая идея долговечнее самых надежных товаров.

Общение разноязычных поэтов, писателей с целью художественного обмена уже в начале нашего века не было редкостью. Книга в разных странах говорила о разном и одинаковом. Книга приводила, осаживала своих авторов за один стол, чтобы они зорче распознали — что у них одинаково, что — разное. Общение сближало одних писателей, разделяло других. Мы видим, как растет число таких интернациональных писательских встреч после второй мировой войны: как достигается взаимопонимание, и раньше всего — убеждение, что с помощью войн понять друг друга нельзя.

Вот писатели встречаются в Венеции, за «круглым столом» Европейского общества культуры. Ярослав Ивашкевич слушает. Говорит Запад. Говорит Восток. Мне хорошо видно лицо Ивашкевича, освещенное полуоткрытыми окнами за моей спиной. Заманчиво было бы смотреть в эти окна — туда, где простирается покой нежно-белого полуденного неба, где изредка раздается на канале тихий всплеск ленивого весла и опять все вокруг смолкает и зовет к рассеянному созерцанию. Ивашкевич не отрывает слуха от ораторов, и взгляд его только изредка упадет на бумагу, чтобы с улыбкой черкнуть два-три слова, которые надо приметить.

Эта улыбка переменчива, пожалуй, чаще всего иронична, но множество оттенков пробежит по его лицу — от сурового до озорного, от осуждающего до восторженного, веселого, пока выговорится оратор. Но заговорит следующий, — и опять сменяются тона реакции сосредоточенного слушателя.

Участие Ивашкевича в состязаниях диспутантов удивительно стойко. Ему бывает и скучно, — кто не поскучает на долгодневных конференциях? Но вот он выступает с речью. И кажется, вся гамма его мимических отзвонков на споры сторон отражается теперь в его слове. Оно так же многогранно — то порицающее, то ласково, и солидарно, и оспаривающее, и, наверно, не меньше, чем в улыбке, проскальзывает в его слове ирония. Он знает силу этого оружия. И его французский язык, кажется, делает это оружие послушным самому элегантному кодексу борьбы.

Я редко встречал человека такой непринужденной общительности, как Ярослав Ивашкевич. В свободный час, на перерыве заседания, среди пестрых кучек людей он заставит разговориться флегматика, с ним будет смеяться меланхолик, и стоит ему захотеть, как дискуссия, от которой всем пора бы передохнуть, немедленно возобновится. Все это он делает с изяществом, легко, и никому не придет в голову, что работа продолжается.

В Венеции я встретился с Ивашкевичем впервые. Он был там с дочерью. Наш совместный последний вечер мы провели в театре. Когда мы вышли после спектакля на площадь, покрытую южной тьмой, маленькую, с шелковыми огоньками игрушечных фонарей, и стали прощаться, я почувствовал, что мне грустно расстаться с Ивашкевичем — этим новым знакомым, вдруг почувшившимся давним товарищем, и с его дочерью, с которой я обменялся всего несколькими словами за спектаклем. Минута на этой завораживающей, как декорация, молчаливой площади осталась в моей памяти финалом оперы, а беззвучные тени расходившихся зрителей и я с ними — тенями действующих лиц прослушанных сцен.

Может быть, магия венецианской ночи облекла ту минуту театральную иллюзией. Но доброе чувство товарищества, возникшее за «круглым столом», живо вспыхнул при прощании, было вовсе не иллюзорно: образ Ярослава Ивашкевича закрепился памятью сердца.

Черты, о которых я говорю, могут быть восприняты как внешние. Но это не так. Что меня всегда останавливает в образе Ивашкевича — это его способность повсюду чувствовать себя свободно, как дома.

Вот еще один «круглый стол» — во Фландрии, на самой границе с Голландией, в курорте Кноккеле Зут. И здесь собрались, как в Венеции, виднейшие писатели Европы, и здесь звучит живоотрепетный разговор на жаркий мотив Востока и Запада. Ивашкевич не пропускает ни одной реплики. У него готовы предложения по каждой заминке в споре. Он помогает развязать либо разрубить затянутый узел расхождений, и — буду беспристрастен — он умеет и затянуть его потуже. Иногда ведь полезно показать, что расхождения непримиримы и надо отложить их до лучшего дня. Путь ко взаимности сложен. И надо только не сходить с пути, ведущего к миру.

Как во множестве литературных жанров, в которых перо Ярослава Ивашкевича уверенно чувствует себя сильным хозяином, так он сам в своей красочной жизни — хозяин своих сил, своих действий. Изумляет его подвижность, его неутомимость путешественника, я сказал бы, странствователя по дорогам культуры. Все широты Европы — от Сицилии до Финляндии и — уверен — многие за пределами нашего старого мира исхожены поэтом и писателем Ивашкевичем.

Бывал ли он когда-нибудь в роли туриста? Не остается ли он повсюду самим собою — поэтом и писателем? Думаю, — да. Думаю, ни одна деталь впечатлений, накапливаемых им в своих хождениях по родным и чужбинным землям, не осталась холостой в

работе художника. Он черпает мир своих образов в жизни. Пульс действительности слышится в отточенных строках его книг.

Читаю его рассказ — «Конгресс во Флоренции». Вещь эта написана в 1941 году, но время изображено межвоенное — Италия между двух войн. И два мира встают мастерски сопоставленными картинами, на фоне которых смело развернута драма бедной итальянской девушки и польского романиста. Одна картина живописует конгресс деятелей культуры в период, названный автором «повальным увлечением международными съездами», другая — жалкий пансион в захудалом углу Флоренции. Когда картина конгресса раскрывала мне, читателю, тончайше наблюдаемые подробности общества, состоящего, по слову Ивашкевича, из «людей, прилично выглядевших во фраках и умевших говорить по-французски», — признаюсь, я вспомнил, что автору было где почерпнуть знания такого круга людей, чтобы затем воплотить этот круг в неотразимо гротескной словесной живописи. А что же можно сказать о вылепленном, реалистически осязаемо несчастном, бьющемся на дне быта истерике, — владельце пансиона? Я ответил бы: Ивашкевич, в молодости которого заняла немалое место дипломатическая служба, и который в странствиях своих повидал в изобилии бытование бедного люда — верен в своем искусстве обнаженной правде действительности.

Советскую литературу сближает с творчеством Ярослава Ивашкевича его основные взгляды на художника, на искусство нашего времени. Недавно он заявил: «Шекспир говорил о зеркале жизни, о литературе как отражении жизни, и он был прав». В другом, совсем недавнем высказывании, на вопрос — какую литературу он ценит больше всего, он ответил: «Разумеется, польскую. Помимо этого, я люблю Тургенева, Толстого, Достоевского, Бунина».

В истоках этих советские писатели тоже видят опору своих эстетических воззрений, и это создает предпосылку нашего общего языка с Ярославом Ивашкевичем. Мы можем спорить (какие единомышленники в искусстве не спорят меж собой?), но мы понимаем друг друга.

Да и как могло бы быть иначе? Я не беру на себя смелость назвать нашу страну второй родиной Ивашкевича. Но не называет ли он ее таким именем сам? И не первая ли она ему родина? Как часто вспоминает он украинскую землю, на которой увидел свет, и древний Киев, где протекали его детство, юность, и киевскую гимназию, и киевский университет. И не в Киеве ли явились на свет первые печатные строки будущего большого поэта, писателя Польши — Ярослава Ивашкевича? Все это так. Жизнь — не грифельная доска. Ничто не стирается, не исчезает из пережитого.

Вот у меня на даче в гостях Ярослав Ивашкевич со своим соотечественником писателем Яном Бжехвой и его женой. Я веду их в лесной участок, который зову «джунглями». Ивашкевич с улыбкой поглядывает на заросли подлеска, узнает, одну за другой, породы. Все здесь знакомо и понятно ему. Но через фразу он вставляет словечко о том или ином дереве в своем Стависко — усадьбе под Варшавой, где живет. Переключка мыслей его игрива, но полна душевности, — я вижу, как две любви, уживаясь, соседствуют в нем. Подмосковные сосны, ели и осинка с бузиной фантастично беседуют с хорошо зримыми его воображению деревьями парка, окружающего дом в Стависко.

Две любви, две родины. Они живут в Ярославе Ивашкевиче, как в нем живут поэт и человек, все время дополняя друг друга в сравнении, соревновании, но нераздельно, как слиток.

Если внутренне наши литературы — польская и советская взаимно будут тяготеть друг к другу, как две любви, наше искусство превратится в драгоценный слиток.

Ведь мы уже ныне живем в то время, о котором, по убеждающему слову Александра Пушкина, Адам Мицкевич говорил как «о временах грядущих, когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся».

Единая семья наших братских народов должна и будет иметь братскую литературу.